

УДК 811.111.1:81'27
ББК Ш100.3

ГСНТИ 16.21.27; 16.21.51

Код ВАК 10.02.19; 10.02.01

Ш. Фицпатрик S. Fitzpatrick
Чикаго, США Chicago, USA

Пер. с англ. Н. Г. Юзефович

**СЧАСТЬЕ И ТОСКА¹:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
О ВЫРАЖЕНИИ ЭМОЦИЙ
В ПРЕДВОЕННОЙ РОССИИ
(фрагменты)**

**HAPPINESS AND TOSKA: AN ESSAY IN THE
HISTORY OF EMOTIONS IN PRE-WAR
SOVIET RUSSIA**

Аннотация. Исторический очерк Ш. Фицпатрик, в котором доказывается, что обозначения эмотивных состояний в предвоенной России неизбежно идеологизировались.

Abstract. The paper analyzes a historic essay of a well-known scholar Sh. Fitzpatrick. Analyzing a "little person" diaries etc comes to the conclusion that even emotions were under control of Soviet ideology.

Ключевые слова: идеологизированность; идеологизированный субстрат; эмотивное состояние «счастье»; эмотивное состояние «тоска»; микро-история.

Key words: ideological association; substratum; emotive state 'happiness'; emotive state 'grief' ("toska"); microhistory.

Сведения об авторе: Фицпатрик Шейла, доктор философии, профессор, почетный профессор имени Бернадотт Е. Шмитт.

About the author: Fitzpatrick Sheila, D. Phil., Professor, Bernadotte E. Schmitt Distinguished Service Professor Emerita.

Место работы: Чикагский университет, США.

Place of employment: The University of Chicago, USA.

Сведения о переводчике: Юзефович Наталья Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации.

About the translator: Yuzefovich Natalia Grigorievna, Candidate of Philology, Assistant Professor of the Chair of English Philology and Cross-Cultural Communication.

Место работы: Дальневосточный государственный гуманитарный университет.

Place of employment: Far Eastern State University for the Humanities.

Контактная информация: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68.
e-mail: nataliayuzefovich@rambler.ru.

Я не могу точно описать, что именно чувствовали люди в сталинской России. Историк анализирует доступную ему информацию об эмоциях, своего рода эмоциональный репертуар общества, эмотивные состояния, характерные для определенного исторического контекста. Проявление эмоций подчиняется неким правилам, принятым в данном обществе. При этом я не имею в виду выражение эмоций в официальной обстановке, публично, например, патристический энтузиазм. Мое предположение заключается в том, что способы выражения таких личностных эмоциональных переживаний, как горе и стыд, определяются социальными конвенциями даже в тех случаях, когда это происходит не на публике, например в дневниках. Это не значит, что такого рода эмоции не являются подлинными. У эмоций есть свой язык, и этому языку учатся.

Мы смотрим на выражение лица друга, его жесты, движения тела, слушаем, как и что он говорит, видим, как он себя держит,

и таким образом понимаем его эмоциональное состояние. У историка, изучающего эмоции, два пути — прочитать то, что написано в дневниках, письмах и мемуарах и проанализировать языковые особенности, учитывая, как определенные внешние условия влияют на выражение эмоций. Другой путь более сложен, так как требует определенных условий — это наблюдение над тем, как люди проявляют свои эмоциональные состояния в определенной ситуации, при соблюдении ритуалов. Например, коллективный плач как выражение сострадания в ситуации, когда увозили из деревни раскулаченных крестьян, или, напротив, отсутствие плача как эмоционального проявления сострадания в аналогичном контексте. Это выражение горя и нужды в «ритуальных причитаниях», которые представляли собой одну из форм прошения.

Основная задача настоящего очерка заключается в описании эмотивного состояния, точнее двух состояний: «счастье» (hap-

¹ В переводе сохранены случаи транслитерированного написания русских номинаций (приведены в ссылках), что маркирует национально-специфические коннотации и идеологизированность данных лексических единиц, которые практически невозможно передать каким-либо соответствием в английском языке.

piness)¹ и «печаль» (sadness); при этом особое внимание уделяется такому проявлению печали, как «тоска» (*toska*). Это не умаляет значимости других важных эмоций — гнева, страха, стыда, зависти, сострадания, гордости и любви, которые также составляют часть замысла всего предпринимаемого исследования.

Эмотивные состояния, выбранные для анализа, включают широкий спектр проявлений, они представлены в разнообразных формах выражения в официальном и частном общении; при этом они любопытнейшим образом пересекаются.

Исследование сталинского дискурса начинают, как правило, с описания объективации такого эмотивного состояния, как «счастье» (*schast'e*), поскольку, как общеизвестно, в официальном дискурсе эта эмоция занимала особое положение. В официальном дискурсе не встречается его антоним — «горе» (*gore, pechal'*), который, однако, довольно частотен при выражении эмоций в неофициальном дискурсе. Первоначально даже и не думала рассматривать эмоцию «тоска» (*toska*), однако оказалось, что она тесно связана с наиболее типичными выражениями счастья и сопутствует ему практически везде.

Под эмоциональным состоянием «счастье» (*schast'e*), в соответствии с риторикой сталинского дискурса, понималось такое эмоциональное состояние каждого советского гражданина, которое обеспечивается социализмом, или то, которое будет создано при социализме. При этом имплицировалось, что в некотором скором будущем такое состояние станет универсальным и постоянным. Очевидно, что такое утверждение весьма преувеличено, поскольку — как утверждают психологи (например, Фрейд) и подтверждают самонаблюдения — ощущение позитивного счастья кратковременно; это одно из таких эмоциональных состояний, которое представляет собой самоосознаваемое ощущение («Как я сегодня счастлив!») и которое является предвестником коллапса состояния счастья.

В сталинский период людям сложно было понять в полной мере, что представляет собой понятие «счастье», создаваемое официальным дискурсом, равно как и нам, простым грешникам, непросто осознать, что за «счастье» обещано на небесах всем спасенным.

Трактористка Паша Ангелина (или ее автор-«призрак») попыталась искренне описать собственное ощущение счастья на все-

союзной конференции стахановцев в Кремле в середине 1930-х гг. Во-первых, это состояние казалось нереальным: «Меня будто бы переносили в новый сказочный мир». Однако такое впечатление поспешно исправлено: «Нет, не *словно бы*. Передо мной открылся новый мир счастья и разума».

Совмещение сказочного² образа нового мира и образа мира «разума» кажется довольно странным, но тот фрагмент описания, где Ангелина говорит не столько о переживании счастья в настоящем, сколько о предвосхищении его в будущем, понятен, поскольку речь идет о ее будущих достижениях.

Пусковым механизмом такого переживания является присутствие Сталина; и Ангелина, как представляется, стремится рассказать нам, что лично для нее переживаемое эмоциональное состояние представляет собой нечто более рациональное, чем восторг.

Сначала она утверждает эту мысль, повторяя несколько странную фразу «счастье и разум»: «Именно великий Сталин привел меня в мир счастья и разума».

После рассказа о собственных ощущениях она стала описывать, ярко и образно, как подействовал ее рассказ о собственном эмоциональном состоянии на старую крестьянку неподалеку, естественная искренность выражения эмоций которой (ничего общего с самовнушаемой рациональностью Ангелины) показывает потрясение от услышанного: «Она сбросила головной платок, седые волосы заблестели, глаза засверкали от радостного возбуждения, и она тихонько прошептала сама себе: „О, боже мой, наш Сталин. <...> Ах, люди, дорогие, вот какой он, наш самый дорогой и любимый! Посмотри на наше солнышко, на наше счастье!“»

Крестьянка, соседка Ангелины, находилась в таком возбужденном эмоциональном состоянии, что, казалось, вот-вот заплачет от счастья.

Домохозяйка/активистка Галина Штанг также образно описывает в дневнике свое эмоциональное состояние на выборах Советов в 1937 г. (первые выборы, которые проводились после принятия новой, «сталинской» Конституции): «Я почувствовала какое-то возбуждение в душе, не знаю почему, даже комок в горле был. Возможно, из-за того, что прошлой ночью я спала всего два часа, но скорее всего, потому что мы были самые первые избиратели на самых первых в мире таких выборах».

Счастье и печаль смешались в ощущениях Агриппины Коревановой в тот великий

¹ Happiness (*schast'e*).

² "Fairytale" (*skazochnyi*).

день ее жизни, когда ее упорная работа получила признание: «Когда мне вручили благодарственную грамоту, мои руки задрожали. Я смотрела на грамоту, но все буквы прыгали, и я не смогла прочитать ни слова. Сердце мое было одновременно наполнено как счастьем, так и печалью. Я была счастлива, потому что моя дорогая Советская Власть не забыла мой многолетний тяжелый труд и отметила мой труд, несмотря на то, что я уже больше не работала. Но я также и опечалилась, потому что родилась слишком поздно, зря потратила слишком много энергии, сделала далеко не все, а теперь, когда социалистическое строительство идет полным ходом, уже не могу работать, я превратилась в инвалида, больную женщину. Если бы только мне родиться на двадцать лет раньше! Как много я смогла бы сделать!»

Из мемуаров Коревановой становится понятно, что счастливым человеком она вообще не была: даже при советской власти разочарования и неприятности преследовали ее.

Состояние личного счастья также чуждо и герою романа Андрея Платонова «Счастливая Москва», геометру и городскому архитектору Божко, как следует из описания: «Сегодня Божко, геометр и городской землеустроитель, закончил тщательный план новой жилой улицы, рассчитав места зеленых насаждений, детских площадок и районного стадиона. Он предвкушал близкое будущее и работал с сердцебиением счастья, к себе же самому, как рожденному при капитализме, был равнодушен».

Состояние счастья Божко можно представить как состояние ожидания, предвкушения счастья, однако это скорее интеллектуальное состояние, чем эмотивное.

В воспоминаниях людей, чья молодость пришлась на 1930-е гг., состояние счастья также часто описывается как ожидание, предвкушение, но оно иное: мемуаристы описывают личные ощущения состояния счастья в настоящем, но основаны они на ожидании чего-то знаменательного, чудесного, что ждет их в будущем.

Особенно ярко это чувство выражает Владимир Кабо, родившийся в 1925 г. в семье московских интеллигентов: «Никогда не забыть чувства радости от жаркого летнего дня, проведенного в саду рядом с нашим деревянным домом на Красной Горке: солнце, запах хвойной смолы и аромат цветов в знойный, безветренный день; тишина прерывается только жужжанием пчел. Я был еще маленький <родился в 1925>, но воспоминания об этом дне блаженства и полноты жизни останутся со мной навсегда. И позд-

нее, подростком я переживал похожее состояние: теплый майский вечер, московские улицы, полные радостного предвосхищения счастья, которое так близко, кажется, только руку протянуть. С этим чувством предвосхищения близкого счастья я жил, пока мне не исполнилось тринадцать лет».

Большинство именно так вспоминавших свое детство (из тех, кто писал мемуары в период 1970—1990-х гг.), были из семей интеллигенции, семей, которые казались счастливыми. Такое ностальгическое описание идиллического прошлого сопоставимо с эмигрантскими мемуарами, например, набоковским *Speak Memory*, несмотря на отличия во временном пространстве. Часто идиллическое прошлое резко обрывалось 1937 или 1938 г. — арестом одного из родителей, что означало конец детства и наивности, но иногда продолжалось до участия в военных действиях.

Очевидно, что травма чисток и/или войны является частью ностальгии, но однозначно только частью. В основном свою молодость в 1930-х гг. вспоминают дети интеллигенции, которых воспитали пылкими советскими патриотами. При этом, например, престарелые женщины, которых в 1990-х гг. интервьюировали Е. Энгель и Посадская, об этом не вспоминают; большинство этих женщин происходили из семей низших социальных слоев, нередко заклеянных по социальным причинам как выходцы из семей кулаков, священников.

О своей жизни люди нередко рассказывали на официальных торжественных мероприятиях, например на церемонии награждения стахановцев или на собрании по выдвижению кандидата на выборы.

Проводились также мероприятия другого рода — заседания по организации чисток; собрания, целью которых была «самокритика»¹ (*samokritika*), где повествование о собственной жизни служило своего рода средством утверждения советской идентичности. Типичный советский образ жизни означал личный успех, достижение которого стало возможным благодаря революции и советской власти.

«Когда мне было четыре года, умер мой отец, так я стала сиротой. Я работала в поле, жила среди чужих людей, была нищей, и не было в моей прежней жизни ни одного счастливого дня. А сейчас я примерная колхозница² и очень уважаемый в моем районе человек».

¹ *Samokritika*, when telling the life was one way of asserting a Soviet identity.

² An exemplary *kolkhoznitsa*.

«Я была батрачка¹, и мне приходилось много трудиться, но никто меня не уважал за мой труд, ни начальство, ни соседи. Только в колхозе добилась я уважения своим трудом».

Подобные проявления счастья и гордости часто сопровождалось выражением благодарности Сталину и партии. Вот, например, история стахановки, доярки из Башкирии:

«Позвольте мне рассказать о том, кем я была и как я нашла хорошую жизнь. Когда мне было полтора года, умер мой отец, и осталась практически сиротой. Мой брат заботился обо мне, но когда мне исполнилось одиннадцать лет, он умер (в 1922 г.), и я начала работать и батрачила до шестнадцати лет. Против моей воли согласно старому обычаю, который тогда еще имел силу, меня выдали замуж. Прожив с мужем полтора года, я развелась и вступила в колхоз. <Сегодня она доярка, удостоенная наград.> Прежде мы даже и мечтать не могли о такой, как сейчас, жизни. Здесь и сейчас я выступаю перед нашими руководителями в Кремле. Наши родители и представить ничего подобного не могли. Большое спасибо товарищу Сталину и всей Коммунистической партии за нашу замечательную и счастливую жизнь».

Алексей Стаханов, именем которого названо движение передовиков — «стахановское» — положил начало традиции выражения благодарности в 1935 г., провозгласив: «Именно ему, великому Сталину, обязаны мы всем за счастливую жизнь нашей страны».

В середине 1930-х гг. в прессе часто упоминалось эмоциональное состояние «веселье»² — состояние, родственное счастью, но и явно отличное от него. Такие тенденции связаны с комментарием Сталина в 1935 г. (точнее, его распоряжением) о том, что «жить стало веселее»³, которое без конца повторялось как мантра, указывающая на то, что действительно тяжелые времена первого пятилетнего плана уже в прошлом, а теперь товаров будет в избытке и напряженность спадет.

Веселью способствовали открывающиеся парки культуры и отдыха, в которых проводили карнавалы; однако для измученных заботами советских граждан трудно было организовать «правильное» веселье.

Предписывающие тексты пересекались с текстами другой тональности: в них возни-

кали, например, гастрономическое вождение еды и напитков в парке Горького, описанное «Комсомольской правдой», и жестокость, присущая юмористическим лозунгам карнавала 1935 г. («Смейтесь над теми, кто отстал»).

Горем окрашена история жизни девочки из раскулаченной крестьянской семьи. <Рассказывает о том, что маму исключили из колхоза>: «Мама вернулась домой в слезах: „Как же мы будем теперь жить?“ <...>

Ярким солнечным утром нам пришлось покинуть нашу родную деревню. Никто нас не провожал. Никому мы не были нужны. Взглянув последний раз на наш милый дом, плача и понутив плечи, пустились мы в путь. Нам отчаянно хотелось вернуться домой.

Трехлетняя сестренка не могла долго идти, и пришлось ее оставить: „Мы рассказали ей, каким путем идти обратно и как найти бабушку. Мой брат Еремей взял ее за руку и немного проводил. Когда он вернулся, вытирая слезы, все мы упали на дорогу и разрыдались“».

Горе могло быть выражено и в письмах к власти, если только автор не обвинял их в своих страданиях. Для таких писем, в сущности, характерен лейтмотив «все мои испытания», особенно при обращении с просьбой, мольбой, сопровождаемой описанием горестного положения автора письма. Такие послания, как правило, писали женщины, но были и исключения: так, после смерти своей жены коммунист, отправленный в глухое место в провинции, написал о своем горе Сталину (попросив в конце письма дать работу в крупном городе):

«Мне так ее не хватает, товарищ Сталин. В глуши, в глубине провинции, вдали от железной дороги я стал очень впечатлительным и нервным. Все это не было бы так ужасно, если бы моя жена была со мной»...

Кроме множества выражений горя в различных контекстах, при описании разного рода событий встречается и выражение эмоциональных состояний, не связанных с какими-либо событиями — меланхолии и сильного томления, которое по-русски называется *тоска*⁴, что близко по смыслу немецкому понятию *Weltschmerz*, хотя, возможно, менее возвышенно. Эмоциональное состояние «тоска» имеет давние корни в России, по крайней мере с девятнадцатого века: тема «лишнего человека» характерна для литературы того периода.

Воплощенная в «лишнем человеке» тоска была эмотивным состоянием интеллигенции (получив образование на Западе, они не

¹ *Batrachka*.

² *Gaiety (vesel'e)*.

³ «Merrier» (*veselee*).

⁴ *Yearning (toska)*.

могли служить своему государству, предпочитая иллюзорную службу Народу).

Особенно интересно описывает эмоциональное состояние «тоски» (*toska*) ленинградская комсомолка в письме Сталину; она не указывает свое имя, чтобы не попасть в беду из-за того, что поет в церковном хоре: «Дорогой товарищ Сталин, отец наш справедливый, пожалуйста, выполни нашу просьбу, закрой церковь на набережной Тучкова, на Петроградской стороне. Сделай это в память о Кирове, спаси молодежь от этой заразы».

Автор письма и ее друзья были членами комсомольской или пионерской организации, а родители заставляли их ходить в церковь: «Непременно нужно закрыть церковь. Только одно скажу, и все станет понятно: если ходить в церковь, даже по принуждению, тебя очень затягивает¹, особенно пение, грустное и расслабляющее».

Состояние «счастья» в Советском Союзе было сложнее осознать, чем состояние тоски, так как достижение счастья было проблематичным². Эмотивное состояние «счастье» воспринималось как своего рода гражданский долг, а отсутствие такого состояния могло означать неблагодарность или даже предательство своего благодетеля-государства.

Поскольку было очень трудно достигнуть счастья в настоящем, трудно и осознать такое состояние как постоянное. Официальный дискурс, в котором счастье сочеталось с будущим, способствовал в некоторой степени решению проблемы, но при этом актуализировалась и двойственность: состояние счастья означало также и переживание печали; счастье достигалось в переживании томления, тоске.

Можно было, соответственно, надеяться на личное счастье в будущем, когда-нибудь, что многие люди и делали, как понятно по бурным дискуссиям 1950-х гг. о личной жизни, личности³, личных взаимоотношениях и пр. Так закладывались основы новой проблемы поиска счастья (*Glucksproblem*): достижение постоянного «счастья» в личной жизни представлялось менее осуществимым на практике и более концептуально сложным, чем достижение постоянного коллективного счастья.

Проблема осознания счастья в неразрывной связи с безграничным духовным томлением была успешно решена в пост-сталинский период: эта проблема была представлена как задача разграничения, с одной стороны, личной и общественной сфер, с другой — потребления.

¹ Sucks you in (*zatiagivaet*).

² Фицпатрик называет это по-немецки — «*Glucksproblem*».

³ *Lichnost'*.